



# МЫ ПИРАТЫ

Валерий Стрижов

**МЫ ПИРАТЫ**

«Автор»

2026

**Стрижов В.**

МЫ ПИРАТЫ / В. Стрижов — «Автор», 2026

Мы пираты. Мы боимся не смерти. Мы боимся жизни. Мы джентльмены  
удачи.

© Стрижов В., 2026

© Автор, 2026

# Валерий Стрижов

## МЫ ПИРАТЫ

### МЫ ПИРАТЫ

#### Глава первая, в которой старый волк рассказывает о цене удачи

В тот год пассаты дули так, словно сам дьявол раздувал мехи своих кузниц прямо в преисподней. Карибское море напоминало не ласковую колыбель, а взбесившуюся шлюху — пенилось, плевалось солёной слюной и норовило вышвырнуть любой корабль, не посвящённый в её капризные тайны. Мы, пираты острова Удача, привыкли ко всему. Смерть была такой же обыденной вещью, как утренняя чарка рома, только менее приятной. И если чарка сулила забвение, то смерть сулила лишь сожаление о том, что мало успел нагрabить.

Зовут меня Эстебан Кортес дель Мар, хотя это имя давно уже ничего не значит ни для кого, кроме меня самого. Для испанцев я — «Пёс с Багам», для голландцев — «Кровавый Кортес», а для членов собственной команды — попросту «Старый», ибо молодость ушла вместе с последним зубом, а совесть — ещё раньше. Лицо моё изборождено шрамами, которые в темноте можно принять за карту неведомых земель, левая рука не сгибается в локте после встречи с испанским абордажным топором, и каждый вечер, ровно в шесть склянок, у меня начинают болеть кости — наверное, к дождю, но, быть может, и к смерти. Бароны и гранды, сидящие в своих золочёных креслах за тридевять земель, называют нас пиратами, каперами, джентльменами удачи. Называйте как хотите. Слово не заряжает пушку и не режет глотку.

Мы — те, кого породили стагнирующие империи, те, кого выплонула Европа, задыхающаяся в собственном величии. Испания, некогда владычица морей, теперь напоминает дряхлого паука, который слишком долго сидел в своей роскошной паутине и разучился ткать её заново. Золото Америки не сделало её сильнее — оно сделало её жирной и неповоротливой. Галионы, гружёные этим проклятым металлом, плывут как сонные киты, и каждый мальчишка с паршивой шхуной знает их маршруты лучше собственной матери.

Так было и в тот раз.

Мы лежали в дрейфе у юго-восточной оконечности Кубы, там, где тёплые воды Гольфстрима встречаются с холодным дыханием Атлантики. Место называлось — не помню уже точно, да и какая разница? На картах, которые рисуют в Мадриде, этого места нет вовсе, а на наших, пиратских, оно отмечено черепом с перекрещенными саблями. Капитан Себастьян Рейес — человек, чьё имя заставляло монахинь креститься, а губернаторов — произвольно хвататься за кошельки — приказал убрать паруса и ждать.

— Чует моя задница, что сегодня будет пожива, — изрёк он, оглаживая свои роскошные усы, которые носил, вопреки моде, загнутыми не вверх, а вниз, словно две засохшие пиявки. — Где-то здесь должен пройти «Сантьяго-инфанте», гружёный серебром из Потоси.

— Ваша задница, капитан, давно уже не подчиняется здравому смыслу, — буркнул я, поправляя повязку на культе — нора от картечины ныла к перемене погоды. — В прошлый раз она чуяла французский ког, а пришёл португальский работороговец, от которого мы сами еле унесли ноги.

Рейес усмехнулся, обнажив жёлтые, как старая слоновая кость, зубы:

— Зато, старый ты ворчун, у нас теперь двадцать новых гребцов для галер. Господь, как известно, не любит тех, кто не рискует.

— Господь, как известно, давно уже утонул, когда Ной строил свой ковчег, — ответил я, сплюнув за борт. — А теперь им командует шайка мошенников в рясах, которые продают индульгенции на все случаи жизни, включая будущие грехи.

В этот момент с марса донесся свист — двойной, резкий, означавший «паруса с наветренной стороны». Мы все, как по команде, прильнули к подзорным трубам — у кого они были, разумеется. У меня была отличная, подзорная труба, снятая мной лично с мёртвого адмирала дон Луиса де ла Вега, которую я выиграл в кости у его вдовы (сама вдова, к слову, тоже досталась мне по большому счёту, но это уже совсем другая история).

На горизонте, разрезая бирюзовую гладь, шёл галеон. Большой. Красивый. Наглый. Настоящий испанский гранд среди деревянных корыт. Его паруса, цвета слоновой кости, раздувались от пассата так, словно сам ветер был его верным псом.

— «Сантьяго», — прошептал штурман, худой еврей с жёлтыми пальцами, которого мы за глаза звали «Смерть на костылях». — Это точно он. Я узнаю его оснастку.

— А что ты не сказал нам об этом раньше, Исайя? — прорычал боцман, здоровенный негр по прозвищу Майба — единственный человек на корабле, кто, по слухам, мог перекусить гвоздь пополам и не поморщиться.

— А что бы изменилось? — пожал плечами штурман. — Вы всё равно идёте грабить, даже если я скажу, что на том галеоне сам чёрт сидит в капитанской каюте и играет на гребёнке.

— Чёрта мы возьмём на бордаж, а гребёнку продадим в Нассау голландцам, — резюмировал Рейес. — Приготовиться к спуску парусов. Исайя, курс!

Мы пошли на сближение. Я всегда любил этот момент — когда хищник ещё только подкрадывается к жертве, когда жертва ещё не знает, что она уже мертва. В такие мгновения время замедляется, словно мёд в холодную погоду, и каждый такелажный блок, каждая доска палубы начинают жить своей, особенной жизнью. Матросы шепчут молитвы разным богам — кто Иисусу, кто Мамоне, кто просто матом. Пушки выкачены, фитили тлеют в специальных ведрах с мокрым песком, и вся эта адская машина грабежа приходит в движение с той плавной неизбежностью, с которой падает камень, если его бросить вниз.

Первый выстрел сделали испанцы. И это была их ошибка.

Ядра прошли выше — боцман на корме (тоже, видимо, ветеран, знавший толк в артиллерии) крикнул с усмешкой:

— По ногам, мулы! По ногам, а не по головам! Господь, видать, и впрямь на нашей стороне.

Я стоял у фальшборта, сжимая в руке абордажную саблю — старую, выдавшую виды, с выщербленным лезвием, но надёжную, как молитва грешника. Рядом, зажав в зубах кинжал, замер мальчишка, которого мы звали Полуночником — он никогда не спал во время ночных вахт, и его огромные, чёрные, как дёготь, глаза, казалось, видели то, что скрыто от обычных людей. Он был из тех несчастных, что родились прямо в трюме невольничьего корабля, и единственное, что знал о матери, — это то, что её звали Консоласьон, что по-испански значит «утешение». Не думаю, что она много утешалась в своей короткой жизни.

— Готов, малой? — спросил я, перекрикивая грохот — испанцы дали второй залп, и на сей раз удачнее: одну из наших пушек разворотило в щепки, а двое матросов рухнули на палубу, зажимая руками животы, из которых почему-то полезли синие кишки.

— Готов, дон Эстебан, — ответил он голосом, который не дрогнул. И это было страшно. В шестнадцать лет голос не должен быть таким спокойным. Слишком рано мы приучаем детей к тому, что жизнь — это товар, а смерть — просто неудачная сделка.

Мы сошлись борт о борт. Лязг абордажных кошек, треск ломающихся рей, крики «Сантьяго!» с испанской стороны и наш ответный, нестройный, но оттого не менее дикий: «Удача! Удача! Удача!»

Прыжок на вражескую палубу — это всегда шаг в пропасть. Ты никогда не знаешь, на что ступаешь. Убьют тебя через секунду или ты отправишь на тот свет полдюжины врагов, а потом будешь пить их ром и думать, что всё это было не зря. В тот раз мне повезло. Я приземлился прямо за спиной у испанского офицера, который, не успев обернуться, получил удар

прикладом по затылку (стрелять в него — пуля дороже, да и шум лишний). Он упал, как куль с мукой, и я, не тратя времени, шагнул дальше.

Бой — это не танец, как любят говорить поэты и прочие бездельники, никогда не державшие в руках ничего тяжелее пера. Бой — это мясорубка, где главное — успеть срубить голову соседу, пока кто-то не срубил голову тебе. Абордажная сабля ходит ходуном, лезвие покрывается чужой кровью, которая смешивается с собственной, когда тебя всё-таки задевают — не смертельно, но больно. В ушах стоит звон, но не от удара, а от непрерывного, животного рёва, который рвётся из глоток сотен людей, вдруг осознавших, что они — всего лишь мясо.

Полуночник, тот работал как бес — буквально. Я видел, как он, уйдя от удара пики, нырнул под ноги двум солдатам и вспорол им подколенные сухожилия. Они рухнули с воем, а он, крутанувшись на месте, достал третьего — прямым ударом в пах. Грязно, не благородно, но эффективно. В бою нет благородства, есть только твоя жизнь и враг, который хочет её отнять.

Вскоре испанцы побежали. Они не бились насмерть — у них, в отличие от нас, был дом, была семья, было что терять, кроме этого проклятого серебра. Мы загнали их на бак, и там, у бушприта, когда стало ясно, что спасения нет, они побросали оружие.

И тогда Рейес приказал их пересчитать.

— Сорок семь человек, — доложил боцман. — Ещё двенадцать в лазарете, кто-то прыгнул за борт.

— Сколько весит сорок семь человек? — спросил капитан, глядя на своих офицеров.

— В среднем — по шестьдесят килограммов, — ответил я, чуя недоброе. — Итого — почти три тонны.

— А сколько трюмного пространства освободится, если я прикажу сбросить этих свиней за борт?

Наступила тишина. Такая густая, что можно было ножом резать.

— Капитан, они сдались, — сказал штурман. — Есть кодекс...

— Кодекс, Исаяя, — это бумажка, которую написали те, кто никогда не был в такой жопе, как мы, — усмехнулся Рейес, и в глазах его зажгётся тот самый огонь, который делал его по-настоящему страшным. — У нас груз серебра почти на двести тысяч песо. Каждый лишний килограмм на борту — это риск. Каждый лишний рот — это вода и провизия. У нас своих ртов хватает. Выбросьте их.

Он сказал это так же спокойно, как я мог бы сказать «подайте мне чарку рома». И матросы — мои матросы, мои товарищи по пьянкам и битвам — стали привязывать пленникам на ноги ядра. Сорок семь человек. Сорок семь мужчин, у которых были матери, жёны, дети, надежды, страхи, имена.

Один из них, молодой, с лицом, ещё не тронутым оспой, посмотрел на меня и сказал:

— Вы же христиане.

— Мы — пираты, — ответил я. И в тот момент я не знал, что это слово станет для меня приговором, который я буду носить в себе до самой смерти.

Полуночник стоял рядом, его глаза блестели. Он смотрел, как испанцев одного за другим сталкивают за борт. Он смотрел, как они бьются в воде, поднимая фонтаны брызг, а потом, когда ядро тащило их вниз, наступала тишина.

— Зачем, дон Эстебан? — спросил он, когда последний круг на воде растаял.

— Затем, что так дешевле, — ответил я, хотя чувствовал, что где-то в глубине души, там, где я похоронил все свои иллюзии ещё в детстве, шевельнулось что-то, напоминающее совесть. Я тут же наступил на это что-то сапогом, потому что совесть в нашем деле — непозволительная роскошь.

— Нет, — покачал он головой, и его взгляд стал вдруг взрослым, почти старческим. — Я о другом. Зачем мы всё это делаем, если потом всё равно умрём? И наши тела сгниют в земле, и даже имени нашего никто не вспомнит. Зачем?

Это был тот самый вопрос, который я задавал себе каждую ночь, когда не мог уснуть. И ответа на него я не знал до сих пор.

— Потому что жить хочется, малой, — сказал я, хотя это была не правда. — Жить и жрать. А большего никто не придумал.

Мы взяли с галеона серебро, оружие, карты и несколько сундуков с индиго. Капитанскую каюту я обчистил лично — нашёл там шкатулку с жемчугом, любовные письма, подписанные «Твоя навеки, Изабелла», и дневник. Дневник тот я забрал себе. Не знаю зачем. Может, чтобы убедиться, что эти люди, которых мы только что утопили, как котят, были не просто цифрами в графе «трофеи», а кем-то ещё.

Его вёл тот самый молодой лейтенант, которого я видел в последнюю минуту.

«Сегодня отец писал из Кадиса, — гласила последняя запись. — Мать слегла. Врач говорит, что от тоски. Я скоро вернусь, мама, и куплю тебе дом у моря, как ты всегда мечтала. Ещё немного, всего одно плавание».

Я закрыл дневник и бросил его в море. Зачем мне чужая боль? У меня и своей хватает.

Мы направились к Острову Удачи — так назывался Нассау на нашем, пиратском жаргоне. Там, среди болот и сосновых лесов, расположилось наше гнездо — грязное, вонючее, кишашее ворами, убийцами и беглыми каторжниками, но оно было нашим. Там мы могли продать добычу, пропиться в дым, поубивать друг друга за карточным столом и снова, наутро, отправиться в море, чтобы начать всё сначала.

Но в то утро, когда мы подходили к Нассау, небо на западе неожиданно потемнело. Солнце, только что сиявшее вовсю, словно выключили — будто кто-то гигантской ладонью заслонил его от грешной земли.

— Что за чертовщина? — выругался рулевой, вглядываясь в горизонт. — Шторма вроде не было.

Я поднял голову и увидел это. Сначала я принял это за клубы дыма — может, какой-то корабль горел? Но дым не поднимался вверх, он... двигался горизонтально. И он был слишком правильной формы — круг, огромный, пульсирующий круг, внутри которого клубилась тьма, но не та тьма, к которой мы привыкли ночами, а какая-то иная, живая.

— Исайя, что это? — спросил я штурмана.

Он стоял бледный, как полотно, и его руки, обычно такие уверенные, дрожали.

— Старик, — сказал он, и я впервые услышал в его голосе страх, настоящий, животный страх, от которого кровь стынет в жилах. — Я читал об этом в одной книге... в Кадисе, в библиотеке иезуитов... Они называли это «Вратами». Говорят, в Бермудском треугольнике такие иногда открываются. Те, кто туда заходил, никогда не возвращались. А если и возвращались, то... не совсем людьми.

— В каком смысле — «не совсем людьми»?

— В том, что они видели такое, после чего человек уже не может оставаться человеком. Он либо сходит с ума, либо... — Исайя запнулся. — Либо перестаёт быть собой. Становится чем-то другим.

Круг тем временем разросся — теперь он занимал почти полнеба, и я почувствовал странное, ни с чем не сравнимое ощущение. Будто что-то тянет меня туда, в эту воронку, в эту бездну. Ощущение было не физическим — это была тоска. Тоска по чему-то, чего я никогда не знал и не имел. По дому, которого у меня не было. По любви, которую я не мог купить ни за какие пиастры.

— Поворачивай, — хрипло приказал Рейес, и впервые его голос дрогнул. — Гребни на веслах, но убирайся от этого места прочь.

Мы гребли до изнеможения. Минут через двадцать круг начал уменьшаться, а потом, с тихим, едва слышным хлопком, исчез. Небо снова стало голубым, солнце — золотым, и только запах, странный, приторный запах гнилых цветов и жжёного металла, остался в воздухе.

— Что это было, дон Эстебан? — спросил Полуночник. Он сидел на корточках и смотрел на горизонт немигающим взглядом.

Я хотел сказать что-нибудь ободряющее, что-нибудь вроде «атмосферное явление» или «игра света», но вовремя прикусил язык. Не для того этот мальчик прошёл через такое дерьмо, чтобы его теперь кормили дешёвыми баснями.

— Это было предупреждение, малой, — сказал я. — О том, что существуют силы, которым наплевать на твои серебряные песо, на твои войны, на твои империи. Они играют в свои игры, а мы — всего лишь пешки. И однажды, когда они решат смести нас с доски, никакой галеон, никакая сабля, никакой порох не помогут.

Я думал, что это был самый страшный день в моей жизни. Я ошибался.

**Глава вторая, в которой мы разграбляем Тринидад и понимаем, что зло внутри нас**

— Следующая цель — Тринидад, — объявил Рейес, развернув потрёпанную карту на столе в таверне «Синий краб». — Город богатый, гарнизон — сотня солдат, не больше. Береговые батареи — шесть пушек. Если зайти со стороны бухты с первыми лучами, можно успеть до того, как они проснутся.

Таверна гудела. Пираты — а их собралось здесь человек двести — жадно ловили каждое слово. Кто-то уже представлял, как будет тратить свою долю: на вино, на женщин, на новое оружие. Кто-то просто надеялся выжить. Я слушал и думал: о чём мы вообще? Неужели грабёж — это всё, на что мы способны? Неужели за эти годы никто из нас не мог стать кем-то другим — фермером, кузнецом, даже палачом, ибо палач — это честная работа, у него есть график и выходные?

Но нет. Мы все были здесь, в этой вонючей таверне, на этом клочке суши, затерянном в океане, потому что другого места для нас не было. Европа отвергла нас — потому что мы были слишком бедны, или слишком дики, или просто не вписывались в её расчётливые, подлые игры. Америка — колониальная, католическая, правильная — тоже не ждала нас с распростёртыми объятиями. Мы были отбросами, и мы создали свой мир из отбросов.

В этой комнате собрались люди, которых объединяла не дружба — дружба умирает, когда делишь добычу. Не вера — вера умирает, когда видишь, как тонет младенец, а Господь не спешит ему на помощь. Нас объединяла только смерть. Смерть тех, кого мы грабили, и смерть наша собственная, которая маячила на горизонте, как тот проклятый чёрный круг.

— Старый, ты пойдёшь с первой волной, — сказал мне Рейес. — Возьмёшь десять человек и захватишь южную батарею. Остальные ждут твоего сигнала — три красные ракеты. Как только услышим — врываемся в гавань.

— Почему я? — спросил я, хотя знал ответ. Потому что я был самым старым и, следовательно, самым не нужным. Запасной патрон, который не жалко потратить.

— Потому что ты умеешь ходить тихо, как привидение, — усмехнулся капитан. — И потому, что тебе, в отличие от некоторых, всё равно, где сдохнуть — в бою или в постели с девкой.

Он был прав. Мне действительно было всё равно. За двадцать лет на этом промысле я перестал бояться смерти. Я перестал бояться боли. Я перестал бояться ада — потому что понял, что ад — это не там, это здесь, на грешной земле, где люди могут смотреть в глаза друг другу и лгать без всякого стыда, продавать своих детей за табак и топить целые корабли ради страховки.

Тринидад мы взяли на рассвете. Моя группа высадилась на берег в полумиле от батареи — в мангровых зарослях, где вода пахла тухлыми яйцами, а комары, казалось, были размером с воробьёв и пили кровь так же жадно, как мы пили ром. Мы прошли через лес, как тени. Я сам, Полуночник, Майба и ещё семеро отчаянных головорезов, у каждого из которых на счету было не меньше дюжины жизней.

Часового на батарее я снял сам. Он стоял, прислонившись к лафету, и клевал носом — видно, всю ночь пил ром с местными красотками. Я подошёл сзади, зажал ему рот ладонью и полоснул ножом по горлу. Он забился, захрипел, и я с удивлением поймал себя на мысли, что мне его не жалко. Вообще. Я мог бы убить его, зарезать, задушить, раздавить, как муху, и на моём лице не дрогнул бы ни один мускул.

— Готово, — прошептал я, когда тело перестало биться. — Ставьте ракеты.

Три красные огненные стрелы взвились в предрассветное небо, и через несколько минут из-за мыса показался наш флот — два десятка кораблей под чёрными флагами, несущие смерть и грабёж.

То, что случилось потом, было резнёй. Мы ворвались в город, когда жители ещё спали. Солдаты выскакивали из казарм в одних подштанниках, их настигали пули и сабли, не давая даже шанса выхватить оружие. Занятие города заняло не больше часа. Потери были минимальны — человек десять убитых, двадцать раненых. Потери среди защитников и мирных жителей... мы не считали. Кому в раю нужны цифры, если сам рай отменяется из-за недостатка финансирования?

Я вошёл в город, когда там уже вовсю шёл грабёж. Матросы тащили из домов всё, что могло пригодиться — или просто понравиться. Мебель, картины, посуду, одежду. Женщин, конечно, тоже. Я видел, как двое — братья, кажется, их звали Хосе и Антонио — тащили за волосы молодую испанку, которая отбивалась так яростно, что её ногти оставляли кровавые полосы на их руках. Я мог бы вмешаться. Я должен был бы вмешаться. Ведь я же, чёрт возьми, когда-то был человеком. Но я прошёл мимо.

«Это война, — сказал я себе, хотя это была не война, это было убийство. — Это их доля добычи, как я могу её отнимать?»

Самое страшное в пиратстве — это не гибель кораблей и не морские чудовища. Самое страшное — это когда ты перестаёшь видеть в других людях людей. Когда они становятся просто «добычей», «грузом», «препятствием». Империи, которые мы грабили, были точно такими же. Они тоже не видели в нас людей. Для них мы были «эпидемией», «чумой», «головной болью», которую нужно выжечь калёным железом.

Так замыкался круг.

Я нашёл казначейство. Оно было открыто — кто-то из наших уже успел выломать дверь. Но денег там почти не осталось — видимо, чиновники предусмотрительно вывезли их накануне. Вместо этого в подвале я нашёл клетки. Большие, железные клетки, в которых сидели люди. Негры. Около сотни. Они смотрели на меня из темноты блестящими глазами, как звери. Молча. Безнадёжно.

— Рабы, — сказал за моей спиной Полуночник. — Их держали здесь до отправки на плантации.

— Знаю, — ответил я, хотя ничего не знал. Я даже не подозревал, что в этом городе есть невольничий рынок.

— Что будем с ними делать?

Я посмотрел на клетки. На лица. На эти живые глаза, в которых уже не было ни надежды, ни злобы, одна только тупая покорность судьбе.

— Отпусти, — сказал я.

— Что?

— Отпусти их, малой. Прямо сейчас. Отопри клетки и скажи, чтобы бежали в лес. Через пару часов мы уйдём, и, если они успеют скрыться, может, их не поймают снова.

Полуночник уставился на меня так, будто я предложил ему перерезать глотку самому себе.

— Дон Эстебан, вы в своём уме? Это же деньги! Наследующем рынке в Нассау за каждого такого дают по десять песо. А тут целое состояние!

— Я сказал — отпусти! — рявкнул я так, что он отшатнулся.

Ключи нашлись на стене. Я сам отомкнул первый замок. Дверца клетки со скрипом отворилась, и рабы, сначала не веря, потом смущённо, потом толкаясь и падая, начали выбираться на свободу. Они бежали на свет, на улицу, в неизвестность, и никто из них не сказал мне спасибо. Может, потому что на их языке не было такого слова.

— Вы пожалеете, дон Эстебан, — прошептал Полуночник. — Капитан узнает — вас повесят.

— Пусть, — сказал я. И вдруг почувствовал, что впервые за много лет моя душа, если она у меня ещё была, наполнилась чем-то тёплым и чистым. Это длилось недолго — секунду, не больше. Но это случилось.

Когда я вышел из казначейства, город был уже объят пожаром. Наши подожгли несколько кварталов — то ли случайно, то ли чтобы скрыть следы грабежа. В небо поднимался чёрный дым, смешанный с искрами, и казалось, что сам ад разверзся на земле. Люди метались между горящих домов, матери искали детей, священник в белой рясе (отчего-то белой, хотя все прочие носили чёрные) стоял на коленях на паперти и молился, но его голос тонул в треске пламени и воплях.

В тот день я убил ещё трёх человек — сопротивлялись, когда я заходил в дома за добычей. Я перестал их считать. Вообще перестал думать о том, что делаю. Я просто делал — как ремесленник, который день за днём выполняет одну и ту же работу: взять, отнять, продать, пропить, забыть.

К вечеру мы были готовы к отплытию. Корабли стояли гружёные под завязку — сахар, табак, индиго, немного золота, немного серебра, много проклятий, которые нам желали вслед израненные, ограбленные, осиротевшие люди.

— Хорошая работа, старик, — похлопал меня по плечу Рейес. — Батарю взяли чисто. Почти без шума.

— Угу, — ответил я. — Без шума.

Я смотрел на город. Он догорал. Там, где ещё утром стояли красивые дома с черепичными крышами и цветущими патио, теперь зияли чёрные провалы. Там, где ещё утром дети гоняли по площади мяч, теперь лежали трупы.

И я думал: а как же мы сами? Когда-нибудь придут такие же, как мы — молодые, злые, голодные. Они разграбят Нассау, сожгут наши жалкие лачуги, перебьют нас, старых волков, и пойдут дальше. И это будет правильно. Потому что мир устроен так: одни грабят, другие отбирают награбленное, а третьи пережидают в сторонке, чтобы потом ограбить и тех, и других.

Мы вышли в море, когда солнце село, и небо окрасилось в цвет запёкшейся крови. Я стоял на корме и смотрел на удаляющиеся огни — там горел уже не только Тринидад, там горела моя совесть, которую я сегодня случайно воскресил, только для того, чтобы задушить её снова.

Полуночник подошёл ко мне, держа в руках две чарки рома.

— За что пьём, дон Эстебан? — спросил он.

— За то, чтобы никогда не попадать в такие передряги, из которых мы сами не сможем выбраться, — ответил я. — За то, чтобы империи гнили, а мы процветали. И за то, чтобы наши матери никогда не узнали, кем стали их сыновья.

Мы выпили. Ром был крепкий, обжигающий. Он на время заглушил голоса в моей голове. Но не выжег их.

В ту ночь я спал плохо. Мне снился тот самый чёрный круг. Только теперь он был не в небе, а в море. Мы шли прямо на него, и никто не мог повернуть руль. А из круга тянулись чьи-то руки — длинные, бледные, с обломанными ногтями. Они хватали нас за ноги, за руки, за горло, и тащили в бездну, где не было ни дна, ни неба, ни времени.

Я проснулся в холодном поту. Был ещё час до рассвета. Вокруг храпели матросы, пахло потом, ромом и кровью, которая вьелась в палубу так глубоко, что никакой шторм не мог её отмыть.

— Эстебан, — услышал я шёпот. Это был Исайя. Он сидел на своём сундуке, сжимая в руках какой-то древний свиток. — Эстебан, я знаю, что это было.

— Что было, Исайя?

— То, что мы видели у Нассау. Врата. Они открываются снова. Я сегодня ночью делал расчёты — по звёздам, по течениям, по лунным циклам. Через две недели они откроются прямо на нашем пути, если мы пойдём прежним курсом.

— И что нам делать?

— Ничего. Мы не можем их изменить. Можем только пройти сквозь. Или умереть, пытаюсь обойти. Я не знаю, что там, за Вратами. Никто не знает. Но я знаю, что если мы не пройдем их, то... — Он запнулся. — То мы никогда не узнаем, зачем мы здесь. Зачем живём. Зачем убиваем. Может быть, там, по ту сторону, есть ответы.

Я не поверил ему тогда. Я не верю ему и сейчас. Но я знаю одно: мы пошли. Мы все пошли — потому что отступить было некуда. И потому что, как я уже сказал, нам было всё равно.

А чёрный круг ждал.

Мы шли к Нассау медленно, словно раненый кит, который ищет отмель, чтобы умереть с достоинством, но вместо достоинства находит лишь новых акул. Два дня пути. Два дня, в течение которых команда пила, дралась, молилась и проклинала капитана, судьбу, Господа и того торговца, который в своё время не удавился, а продал им протухшую солонину. Исайя молчал. Он забился в угол трюма, рядом с пороховыми бочками, и всё чертил на пергаменте какие-то круги, треугольники, пентаграммы. Я заглянул к нему раз — не из любопытства, а чтобы проверить, не вздумал ли он поджечь фитиль из тоски по высшей математике. Он поднял на меня глаза — мутные, воспалённые, безумные.

— Ты думаешь, я свихнулся? — спросил он, и голос его звучал ровно, без той привычной дрожи, которую я слышал всегда, когда он говорил о деньгах или о женщинах.

— Я думаю, что ты свихнулся лет десять назад, Исайя, — ответил я, садясь на пустую бочку. — Просто раньше это было не так заметно.

— А вот теперь заметно? — усмехнулся он. — Потому что я нашёл то, что искал? Потому что я могу тебе сказать, когда и где умрёт король Испании? Или почему в море иногда исчезают корабли, а потом появляются через сто лет, и на них — ни одного живого человека, только тени, которые движутся, но не говорят, дышат, но не дышат?

— Ты много говоришь, Исайя. Это первый признак безумия — говорить, когда тебя не просят.

— А ты не просишь, — он ткнул пальцем в мою сторону, и ноготь его был чёрным, как сажа. — Ты никогда не спрашиваешь. Ты плывёшь, убиваешь, пьёшь, снова плывёшь. Как будто жизнь — это компас, который всегда показывает на юг. Но что, если я скажу тебе, что твой компас сломан? Что юг — это не юг, а север — это не север? Что все мы — не туда плывём?

— Тогда я скажу, что это не моя забота. У меня нет компаса, Исайя. Я просто держусь за штурвал и надеюсь, что не налечу на риф.

— А если риф — это вся твоя жизнь? Если всё, что ты делал — убийства, грабежи, ложь, предательство — это и есть тот самый риф, о который ты разобьёшься? И тогда наступит тишина. И пустота. И ты поймёшь, что мог бы жить иначе, но не жил, потому что был трусом.

Я встал. Мне не понравился его тон. Не потому, что он был дерзким — дерзость я умею прощать, если она подкреплена саблей или хотя бы крепким кулаком. А потому, что он был прав. И эту правду я носил в себе, как проклятое ядро, которое застряло в животе и не выходило, но и не давало покоя.

— Кончай балагурить, Исаяя. Скажи прямо — когда откроются твои Врата?

Он посмотрел на свои расчёты, потом на небо, которое виднелось через открытый люк, потом снова на меня.

— Через десять дней. Точно в полдень. Прямо на нашем курсе, если мы не изменим направление.

— Мы изменим направление, — сказал я, хотя знал, что Рейес не изменит. Капитан был из тех людей, кто скорее напорется грудью на штык, чем свернёт с намеченного пути. Для него «обходной манёвр» означал трусость, а трусость в его понимании была хуже сифилиса.

— Нет, — покачал головой Исаяя. — Вы не измените. Потому что там, за Вратами, лежит то, что вы ищете всю жизнь. И я не про золото.

— А про что же?

— Про искупление.

Слово повисло в воздухе, как запах серы после пушечного выстрела. Искупление. Великое, глупое, недостижимое искупление. Я рассмеялся — грубо, хрипло, почти по-собачьи.

— Искупление, Исаяя, продаётся в каждой церкви. Стоит оно десять монет за грех, скидка для оптовиков — три процента. Я уже искупил всё, что мог, и даже то, чего не совершал. И знаешь, что мне это дало? Ничего. Я стал таким же, как был. Только беднее на десять монет.

— Ты смеёшься над церковью, Эстебан. А зря. Потому что церковь — это единственное, что осталось у людей. Если рухнет вера, рухнет всё. И тогда мы увидим такое, от чего волосы встанут дыбом даже у мертвецов.

— У мертвецов волосы не встают, Исаяя. У мертвецов вообще ничего не встаёт, кроме гробовщики на этом не зарабатывают.

Он не ответил. Я вышел из трюма и долго стоял на палубе, глядя, как солнце садится в воду, окрашивая её в цвет ржавчины. На душе было скверно. Мне вдруг захотелось оказаться где угодно — в тюрьме, в лепрозории, на каторге, только не здесь, не на этом корабле, не среди этих людей, которые завтра будут резать глотки, а послезавтра — молиться о прощении.

Мы вошли в Нассау под вечер третьего дня. Гавань встретила нас привычным хаосом — шлюпки сновали между кораблями, как муравьи, таская товары, воду, вино и женщин. На берегу горели костры, пахло жареной свининой и нечистотами. Где-то играла скрипка — плохо, фальшиво, но весело. Кто-то кричал, кто-то пел, кто-то, наверное, умирал в сточной канаве, и никто не обращал на это внимания, потому что смерть здесь была такой же обыденной вещью, как утренний туалет.

Капитан ушёл к губернатору — бывшему флибустьеру, человеку, который умел дружить с деньгами. Мы остались на корабле. Я сидел на баке, чистил саблю и думал. Думал о том, что Исаяя сказал: «Там, за Вратами, лежит искупление». Что это могло быть? Красивая сказка для дураков? Или что-то настоящее, то, что я искал все эти годы, сам того не зная?

— Дон Эстебан, — ко мне подошёл Полуночник. Он был пьян. Впервые за всё время я видел его пьяным. Его глаза, обычно ясные и холодные, теперь блестели, как два гнилых болота. — Дон Эстебан, я был в городе. Я видел... я видел девушку.

— Девушек много, малой. Какая-то особенная?

— Она... — он запнулся, и я понял, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Полуночник никогда не запнулся. Он говорил так же чётко и быстро, как работал ножом. — Она знала моё имя. Она сказала: «Здравствуй, Хуан». Меня никогда не звали Хуаном. Вы же знаете, у меня нет имени. Только прозвище.

Я насторожился.

— Кто она? Откуда она могла тебя знать?

— Я не знаю. Но когда я спросил, она сказала: «Приходи завтра в полночь на северный мыс. Там ты всё узнаешь». И исчезла.

— Как исчезла? Растворилась в воздухе?

— Нет, просто... повернулась и ушла. Но я не видел, куда. Будто её и не было.

В этот момент я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Не от ветра — ветра почти не было. А от того странного, необъяснимого чувства, что кто-то играет с нами в кошки-мышки, и мыши даже не догадываются, что они уже в мышеловке.

— Не ходи, малой, — сказал я. — Это ловушка.

— Может быть, — кивнул он. — Но я всё равно пойду. Потому что если это не ловушка, то у меня есть шанс узнать, кто я. А если ловушка — то я хотя бы умру, зная, что меня кто-то искал.

Его слова прозвучали как приговор. И я вдруг понял, что мы все — смертники, которые ждут своего последнего часа. Кто-то ждёт его с ужасом, кто-то с надеждой, а кто-то — с тем самым чёрным равнодушием, которое называется усталостью жить.

— Я пойду с тобой, — сказал я, не понимая, зачем мне это нужно. Может, потому что он был единственным, кто ещё не потерял душу окончательно. Может, потому что я надеялся, что эта девушка, эта таинственная незнакомка, скажет что-то и мне. Слово, которое изменит всё.

Полночь на северном мысе встретила нас тишиной. Такой тишины я не слышал никогда — ни в море, ни на суше, ни в пекле сражения, когда после залпа вдруг наступает мёртвая, звенящая пауза. Ветер не дул. Волны не шумели. Даже птицы, и те, казалось, замерли в воздухе, превратившись в крошечные чёрные крестики на фоне тёмно-синего неба.

Мы ждали. Я, Полуночник и Майба, который увязался за нами, потому что, по его словам, «если кто-то собирается резать глотки, он хочет быть там, где льётся кровь». Я не стал его отговаривать. Майба был из тех людей, которые всё равно делают по-своему, даже если ты приставишь пистолет к его виску.

Она появилась из ниоткуда. Сначала я подумал, что мне показалось — просто лунный свет упал на камень и отразился. Но нет. Она стояла на самом краю мыса, в нескольких шагах от нас, и смотрела на море. Волосы у неё были цвета воронова крыла, платье — чёрное, простое, без украшений. Она не обернулась, когда мы подошли. И заговорила, не глядя на нас.

— Вы пришли. Я знала, что вы придёте.

— Кто вы? — спросил Полуночник, и его голос дрогнул — впервые в жизни. — Откуда вы знаете моё имя?

— Я знаю не только твоё имя, Хуан. Я знаю всё. Когда ты родился, и когда умрёшь. Как звали твою мать и как звали человека, который убил её. Я знаю, что ты ищешь, и знаю, что ты никогда не найдёшь этого, если не поможешь мне.

— Помочь тебе? — я шагнул вперёд, сжимая рукоять сабли. — Кто ты? Ведьма? Призрак? Посланница дьявола?

— Я — посланница судьбы, — она наконец повернулась. Лицо у неё было молодое, красивое, но в глазах — глубокая, вековая усталость. — Я здесь, чтобы предупредить вас. Через семь дней Врата откроются. Если вы войдёте в них — вы погибнете. Но если не войдёте, погибнет не только ваша команда, но и весь Нассау. Всё, что вы построили. Все, кого вы любили.

— Никого я не люблю, — буркнул Майба. — И не строил ничего, кроме пары клеток для каторжников.

— Ты любишь свою мать, — сказала она, и впервые на её лице появилась тень улыбки. — Хотя она умерла, когда тебе было пять. Ты любишь её до сих пор. И каждую ночь просишь у неё прощения за то, что не смог её защитить.

Майба побледнел. Я никогда не видел, чтобы этот огромный, грубый, злой негр бледнел. Он шагнул назад, заслонился рукой, словно она могла ударить его.

— Заткнись, — прошептал он. — Заткнись, ведьма.

— Я не ведьма. Я — то, что вы называете «голосом». Голосом, который вы слышите, но не слушаете. Голосом, который говорит вам правду, но вы называете её ложью, потому что правда слишком страшна.

Она перевела взгляд на меня.

— Эстебан Кортес дель Мар. Ты убил своего отца. Не руками — словом. Сказал ему, что он никчёмный пьяница и что ты лучше него. Он умер через неделю. И ты винишь себя в этом каждый день, хотя никто никогда не узнал правды.

Я замер. Сердце билось где-то в горле, перекрывая дыхание. Я никогда никому не рассказывал об этом. Ни единой живой душе. Даже на исповеди, в те редкие разы, когда я заходил в церковь, я молчал о том, что произошло в тот проклятый вечер, когда мы с отцом поссорились из-за пустяка, и я бросил ему в лицо: «Ты ничтожество, ты даже не можешь умереть достойно». Он умер через неделю. Сердце остановилось во сне. Врачи сказали — старость. Я знал — я убил его.

— Что нам делать? — спросил я, и голос мой звучал как чужой.

— Вам нужно найти сундук, — сказала она. — Сундук мёртвеца. В нём лежит ключ. Ключ, который закрывает Врата навсегда.

— Где этот сундук?

— В самом сердце Бермудского треугольника. Там, где время течёт вспять, а мёртвые не хотят умирать. Вы должны отправиться туда и принести его. У вас есть семь дней. Если вы не успеете, Врата откроются, и мир погрузится во тьму.

Она шагнула к краю обрыва. Внизу плескалось море, чёрное, маслянистое, с белыми барашками пены.

— Постой! — крикнул Полуночник. — Ты не сказала, как мы найдём этот сундук!

— Ты найдёшь, — она посмотрела на него, и в её взгляде я прочёл нечто такое, от чего волосы встали дыбом. — Ты идёшь по его следу всю свою жизнь, Хуан. Просто не знал этого.

Она шагнула в пустоту. И исчезла. Не разбилась о камни, не закричала, не плеснула вода. Просто растворилась в воздухе, как утренний туман.

Мы стояли на мысе ещё долго. Молчали. Смотрели на море, на звёзды, на свои руки, которые вдруг стали чужими. Ветер поднялся, качнул ветви сосен, и мне показалось, что я слышу чей-то шёпот. Может, это был отец. Может, мать. Может, все те, кого я убил и ограбил.

— Что будем делать? — спросил Майба.

— Пойдём в Бермудский треугольник, — сказал я. — Найдём этот чёртов сундук. Закроем Врата.

— А если это обман?

— Тогда умрём, пытаясь. Всё равно смерть — лучший конец для таких, как мы.

Мы вернулись в Нассау, когда первые петухи уже пропели, а последние пьяницы ещё не допили. Капитан спал — его разбудили с трудом. Он выслушал нас с помрачневшим лицом, потом потребовал рому, выпил пол-литра залпом и сказал:

— Чушь. Бабы сказки. Я не поведу корабли в Бермудский треугольник из-за какой-то шлюхи, которая умеет исчезать.

— Она не была шлюхой, капитан, — сказал Полуночник. — Она была... чем-то другим.

— Мне плевать, кем она была! Мне важно, что в трюмах лежит серебро на сто тысяч песо, и если мы не доставим его в Нассау, то через месяц все эти деньги сожрут крысы и таможенники. Мы никуда не плывём.

— Тогда плывите мы, — сказал я. — Я, Полуночник, Майба. И ещё несколько добровольцев. Возьмём шхуну «Летучая рыба» и пойдём. Остальные могут оставаться.

Рейес посмотрел на меня долгим, тяжёлым взглядом. Я видел, что он колеблется — между жадностью и страхом. Жадность побеждала всегда, но сегодня страх, кажется, поднял голову.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Идите. Но если через две недели вы не вернётесь, я продам ваши доли и скажу, что вы сгинули в шторме.

— Если мы не вернёмся, капитан, то вам всё равно, что о нас говорить, — ответил я. — Мёртвые не слышат.

«Летучая рыба» была не лучшим кораблём в нашей флотилии. Старая, неповоротливая, с вечно текущей палубой и такелажем, который норовил развязаться при малейшем ветре. Но она была быстроходнее других и, главное, мелкосидящая — мы могли пройти там, где галеон сел бы на мель. Исаяя, узнав о нашем решении, засмеялся — нервно, истерично, и потребовал, чтобы его взяли с собой.

— Я всю жизнь ждал этого момента! — кричал он, потрясая своими свитками. — Я должен увидеть Врата своими глазами! Это моя судьба!

— Судьба, — усмехнулся я. — Если ты ошибёшься, Исаяя, и мы все погибнем, я велю тебе первому проглотить якорь.

— Согласен, — кивнул он, и глаза его горели лихорадочным огнём.

Мы отплыли на рассвете следующего дня. С нами пошли двенадцать человек — все, кому надоело ждать смерти в Нассау и кто предпочёл встретить её лицом к лицу, в компании тайн и чудовищ. Среди них был и голландец Ян ван дер Меер, которого прозвали «Слепой», потому что он потерял глаз в драке с испанцами, но видел намного больше нас, зрячих. Был и француз Пьер Леблан, ювелир из Марселя, который бежал в Америку после того, как обанкротился, подделывая монеты. Был и англичанин Томас Рэдклифф, которого выгнали с флота Его Величества за пьянство и дезертирство, но который оставался лучшим канониром на всех Багамах.

Моря — бандиты, воры, убийцы, неудачники. Но они были моей командой. И я знал, что если придётся умирать, то умирать с ними — лучше, чем жить с кем-то другим.

**Глава третья, в которой мы плывём в самое сердце тьмы, и она нас принимает**

Бермудский треугольник встретил нас штилем. Первые три дня мы шли на вёслах, задыхаясь от жары, проклиная тот день, когда родились, и ту минуту, когда согласились на эту авантюру. Небо было чистым, безоблачным, но солнце не грело — оно пекло, как раскалённая сковорода, о которую можно прижечь рану, чтобы остановить кровь. Только ран у нас пока не было, а вот кровь кипела от бессилия.

— Это неправильно, — бормотал Исаяя, сверяясь со своими расчётами. — Здесь всегда дует пассат. Всегда. Не может быть штиля. Не может!

— Может, если кто-то не хочет, чтобы мы плыли дальше, — сказал Полуночник. Он стоял на носу и вглядывался в горизонт, где вода и небо сливались в одну белесую дымку.

— Ты про Бога? — спросил я, протирая саблю — занятие, которое успокаивало нервы.

— Нет, дон Эстебан. Богу плевать на нас, это мы давно знаем. Я про другое. Про тех, кто живёт здесь. Внизу. Или наверху. Или... рядом.

Ван дер Меер, голландец, поднял свой единственный глаз к небу, словно надеялся увидеть там что-то, кроме пустоты.

— Мой дед, — сказал он. — Мой дед был шкипером на китобойном судне. Он рассказывал, что в этих местах иногда слышат звон. Колокольный звон. Как будто под водой есть церковь. И если ты слышишь этот звон, значит, ты уже не вернёшься домой. Потому что колокола звонят по тебе.

— Твой дед был пьяницей, — отрезал я.

— Возможно. Но он не был лжецом.

На четвёртый день ветер наконец подул. Сначала слабо, едва ощутимо, так что мы не поверили, подставили лица, и только когда «Летучая рыба» медленно, нехотя, но всё же двинулась вперёд, поняли — нас отпустили. Или, наоборот, затягивали глубже, в самую пасть чудовища.

Мы поставили паруса и пошли на юго-восток, туда, где по расчётам Исаяи находился эпицентр аномалии. Море вокруг нас менялось. Оно стало каким-то... густым. Медленным. Волны накатывали на борт не с привычным шумом, а с влажным, чавкающим звуком, будто

мы плыли не по воде, а по киселю. Цвет тоже изменился — с бирюзового на тёмно-зелёный, почти чёрный. И запах. Запах стоял такой, что хотелось вырвать.

— Тухлые яйца, — определил Майба, сморщив нос. — И сера. Много серы.

— Подводные вулканы, — предположил Пьер. — Здесь их много, я слышал.

— Вулканы не пахнут тухлыми яйцами, — возразил Исая. — Это газ. Газ из глубин. Я читал, что в некоторых местах океан выделяет газ, который может убить человека или заставить его видеть то, чего нет.

— То есть мы уже начали видеть галлюцинации? — усмехнулся Томас Рэдклифф. — Отлично. Значит, тот бар, который я видел на горизонте, был ненастоящий?

Бар на горизонте видели все. Большое, двухэтажное здание с ярко-жёлтой вывеской, на которой было написано «Кабачок весёлого Роджера». Оно стояло прямо на воде, и у причала покачивалась лодка с зелёным фонарём.

— Призраки, — прошептал кто-то из матросов.

— Мы и сами скоро станем призраками, — ответил я. — И тогда будем пить ром в таких же кабаках, и никто не скажет нам, что мы мертвы.

Шли мы ещё день. Или два. Я сбился со счёта. Солнце вставало, садилось, но между восходом и закатом пролетало то по нескольку часов, то по нескольку минут. Время сжалось, растянулось, потеряло смысл. Команда бредила. Кто-то говорил, что видит на воде следы огромных лап. Кто-то клялся, что слышит голоса утопленников. Полуночник замкнулся, ни с кем не разговаривал, только сжимал рукоять своего ножа и смотрел вперёд, туда, где за тонкой пеленой тумана угадывалось что-то большое, тёмное, живое.

На шестой день мы увидели Врата.

Они не были похожи на то, что я представлял. Не было никакого круга, никакой пульсирующей тьмы. Просто в море вдруг открылась пропасть — огромная, круглая, с ровными краями, будто кто-то вырезал кусок океана ножницами. Изнутри пропасти исходило свечение — тусклое, зеленоватое, как свет гнилушек. И из этого свечения доносился звук. Тот самый колокольный звон, о котором говорил ван дер Меер. Он звучал негромко, но проникал в самое нутро, в кости, в мозг, заставляя зубы скрипеть от боли.

— Манёвр уходи, — скомандовал я, но в тот же момент «Летучая рыба» дёрнулась, будто её схватила гигантская рука, и потащила прямо к пропасти.

— Руль! — закричал рулевой. — Руль не слушается!

— Паруса! Рубите паруса!

Но было поздно. Течение затягивало нас, как водоворот. Мы не могли бороться — слишком слабы были наши вёсла, слишком малы паруса, слишком ничтожны мы, люди, перед этой силой, что жила здесь с начала времён.

— Держитесь! — крикнул я, хватаясь за поручни. — Держитесь все!

«Летучая рыба» вошла в пропасть. На мгновение нас окутала тьма — такая густая, что даже огни фонарей, которые мы зажгли, казались крошечными, беспомощными пятнышками. А потом свечение стало ярче, и мы увидели...

Мы увидели небо. Не то небо, которое было над нами минуту назад, а другое — фиолетовое, с красными облаками, и на нём висели две луны, одна большая, вторая поменьше. Вода под нами была прозрачной, как стекло, и на дне, на глубине сотен метров, лежали корабли. Десятки, сотни кораблей. Галеоны, каравеллы, фрегаты, бриги. Они лежали на боку, стояли прямо, некоторые были разбиты в щепки, другие казались целыми, только паруса их обвисли, словно годы прошли, а ветра так и не случилось.

— Кладбище кораблей, — прошептал Исая. — Кладбище всех, кто когда-либо исчез в Бермудском треугольнике.

— А где сундук? — спросил Полуночник. — Где тот самый сундук мёртвеца?

Он указал вперёд. Там, на ровной, как стол, каменной плите, стоял сундук. Обычный, деревянный, окованный железом. Рядом с ним сидел человек. Вернее, не человек — скелет в обрывках одежды, с черепом, на котором ещё держалась шляпа — потрёпанная, с огромными полями, какие носили капитаны сто лет назад.

Скелет поднял голову. В пустых глазницах горели два зелёных огонька.

— Вы пришли, — сказал он, и голос его звучал из ниоткуда, будто шёл прямо из воздуха. — Я ждал вас.

Мы стояли на палубе, вцепившись в поручни, не в силах пошевелиться. Даже Майба, который не боялся ни чертей, ни дьяволов, замер, как каменное изваяние.

— Вы знаете, что в сундуке? — спросил скелет. — Вы знаете, зачем вам этот ключ?

— Чтобы закрыть Врата, — ответил я. — Чтобы тьма не вырвалась наружу.

— Тьма? — скелет засмеялся, и смех его был похож на треск сухой кости. — Тьма не вырвется, глупцы. Тьма здесь, внутри вас. Всегда была. Врата — это не дверь в ад. Врата — это дверь к истине.

— К какой истине?

— К той, которую вы ищите всю жизнь. К ответу на вопрос: зачем вы живёте, если всё равно умрёте?

Он поднялся. Кости его заскрипели. Он взял сундук и сделал шаг к краю плиты.

— Чтобы получить ключ, вы должны пройти испытание. Каждый из вас. По одному. Вы будете смотреть в глаза тому, кого убили. И если вы сможете выдержать их взгляд, если не отведёте глаза, сундук будет ваш.

— Я не боюсь мёртвых, — сказал Майба. — Я сам их боюсь.

— Тогда ты умрёшь первым, — ответил скелет. — Потому что мёртвые не боятся тебя. Они боятся только правды.

Всё произошло как в тумане. Майба шагнул вперёд, и перед ним из воздуха материализовалась женщина. Молодая, красивая, с длинными чёрными волосами. Она смотрела на него с укором, и я вдруг понял — это его мать. Та самая, которую он не смог защитить.

— Ты оставил меня, — сказала она. — Ты убежал, когда пришли солдаты. А я осталась. Меня изнасиловали, а потом убили. Ты знаешь это, Майба. Ты всегда знал. Но ты предпочёл забыть.

Майба зарычал, как раненый зверь. Он бросился на призрак, но прошёл сквозь него, как сквозь дым.

— Вернись! — закричал он. — Вернись, я убью тебя ещё раз!

— Нельзя убить того, кто уже мёртв, — сказала женщина и растаяла.

Майба упал на колени. Он плакал — огромный, сильный негр, который ломал рёбра быкам голыми руками. Он плакал, как ребёнок.

Следующим был ван дер Меер. Перед ним возник испанский офицер — тот самый, которому голландец выколол глаз перед тем, как заколоть шпагой.

— Ты думал, я умру? — спросил офицер. — Я не умер. Я живу здесь, в этом мире, и каждый день вижу, как ты страдаешь от своего поступка.

— Я не страдаю! — крикнул ван дер Меер. — Я горжусь тем, что убил тебя! Ты был врагом!

— Я был человеком, — ответил офицер. — Как и ты.

Ван дер Меер не выдержал. Он отвернулся — и тут же рухнул замертво. Сердце не выдержало встречи с прошлым.

Один за другим проходили испытание мои люди. Кто-то выдерживал, кто-то падал замертво. Кто-то сходил с ума, начинал кричать, биться в конвульсиях, и его приходилось усмирять, как бешеную собаку.

Когда дошла очередь до Полуночника, перед ним возник... он сам. Его собственное отражение, только старше на двадцать лет, с таким же ножом в руке.

— Ты знаешь, кем станешь, Хуан? — спросило отражение. — Ты станешь тем, кого боятся даже пираты. Тем, кто убьёт сотни людей и не пожалеет ни об одном. Тем, кто потеряет душу окончательно.

— У меня нет души, — ответил Полуночник.

— Есть. Именно поэтому ты здесь. Потому что хочешь её найти.

Отражение шагнуло к нему, и Полуночник, не моргнув глазом, сделал шаг навстречу. Они встретились. Руки их сомкнулись, и отражение исчезло, словно впиталось в мальчика.

— Я понял, — сказал он, поворачиваясь ко мне. — Я понял, кто я.

— Кто?

— Я — тот, кто делает выбор. Каждый день. Каждый час. Выбор между жизнью и смертью, между добром и злом. И никто, кроме меня, не может этот выбор сделать.

Он подошёл к скелету и протянул руку. Тот с готовностью отдал сундук.

— Ключ внутри, — сказал скелет. — Используй его, пока не поздно. Врата закроются навсегда.

Мы открыли сундук. Там лежал ключ — обычный, железный, с затейливой бородкой. И больше ничего. Ни золота, ни драгоценных камней, ни карты сокровищ. Только ключ.

— Зачем мы сюда плыли? — прошептал кто-то. — Из-за какой-то железки?

— Мы плыли из-за правды, — ответил Полуночник, беря ключ в руки.

Он пошёл к краю плиты. Там, где виднелись Врата — теперь они были не пропастью, а спокойным, ровным озером света. Он вставил ключ в замок, который материализовался из ниоткуда, повернул.

Врата закрылись. Без звука. Без вспышки. Просто исчезли, как не бывало. И мы снова оказались в обычном море, под обычным небом, с одной луной.

«Летучая рыба» тихо покачивалась на волнах. Из двенадцати человек, что отправились в это плавание, в живых осталось семеро. Остальные лежали на палубе — кто мёртвый, кто без сознания. Мы не стали их хоронить. Просто оставили в море, как и положено морякам.

— Домой, — сказал я, глядя на восходящее солнце. Оно было обычным, золотым, тёплым. И мне показалось, что оно улыбается. — Домой, на Удачу.

Мы вернулись в Нассау через три дня. Рейес встретил нас на причале, с бутылкой рома в руке.

— Я думал, вы сгинули, старик, — сказал он.

— Мы сгинули, капитан, — ответил я. — Но потом вернулись. Потому что чёрт, видать, не захотел нас принимать. Испугался, что мы переберём всю его команду и устроим бунт.

Он рассмеялся, хлопнул меня по плечу, протянул бутылку.

— Пей, старик. Ты заслужил.

— Не сейчас, капитан, — сказал я. — Сначала я должен кое-что сделать.

Я подошёл к Полуночнику. Он стоял на корме, смотрел на море, и ветер трепал его чёрные, давно не стриженные волосы.

— Что ты будешь делать теперь, Хуан? — спросил я.

Он помолчал. Потом повернулся ко мне, и в его глазах я не увидел ни того холодного блеска, к которому привык, ни той животной злобы, которая жила в нём раньше. В его глазах была... грусть. Огромная, вселенская грусть.

— Я хочу найти свою мать, дон Эстебан. Не ту, что родила меня. Ту, что меня потеряла. Ту, что ждёт где-то, в каком-нибудь городе, и каждую ночь молится за меня, не зная, жив я или мёртв.

— Ты думаешь, она существует?

— Все матери существуют, — сказал он. — Вопрос в том, существуем ли мы для них.

Он спрыгнул на берег и пошёл в город. Я не стал его останавливать. У каждого свой путь. Мой путь был здесь — на корабле, среди таких же отбросов, как я сам. Потому что, как сказал скелет в том странном мире, правда в том, что мы выбираем. И мой выбор — остаться тем, кто я есть. Старым пиратом, который не боится смерти, потому что давно уже мёртв внутри.

Я взял бутылку рома, откупорил, сделал большой глоток. Горло обожгло, в глазах защи-пало.

— За что пьём, старик? — спросил Рейес.

— За сундук мёртвеца, — сказал я. — И за бутылку рома. За то, что мы живы, пока горит этот огонь в наших глотках. И за то, что когда он погаснет, нам не будет больно.

Мы выпили. Я бросил пустую бутылку за борт. Она упала в воду и затонула, оставив на поверхности маслянистое пятно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.